

ГЕОРГИЙ ПОЛЯНСКИЙ

ВИДЕНИЕ НОВГОРОДА



Георгий Полянский
Видение Новгорода

«Автор»

2026

Полянский Г.

Видение Новгорода / Г. Полянский — «Автор», 2026

«Видение Новгорода» — историческое эссе о том, как Москва подчинила Новгород и Псков и превратила военную победу в устойчивый порядок. В центре книги не только походы и вечевой колокол, но и менее заметные орудия власти: суд, земельная запись, жалоба, торговый путь, церковное подчинение и право произнести последнее решение, обязательное к исполнению. Автор рассматривает события XV–XVI веков без гимна собиранию земель и без плача по утраченной вольности. Это описание механизмов развивающегося государства, которое учится защищать человека от местного произвола и одновременно идёт на любые жертвы ради централизации власти, без которой порядок на местах представляется абсолютно недостижимым.

© Полянский Г., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Пролог. О чём говорить можно?	5
Глава 1. Не только колокол	6
Глава 2. Два порядка власти	11
Глава 3. Книга	21
Конец ознакомительного фрагмента.	22

Георгий Полянский

Видение Новгорода

Пролог. О чём говорить можно?

СВО, которую проводит российское государство на территории Украины, официально нельзя называть войной. Обсуждать её причины, ход и цену разрешено только словами, которые выбрало за нас государство. Так устроен всякий жёсткий политический порядок: то, что необходимо осмыслить именно сейчас, именно сейчас публично осмыслять сложно — колебания мысли неприемлемы, если направление их движения может быть интерпретировано не в пользу государства, гражданином которого я являюсь.

В истории Московского государства уже была война с землёй, которую оно считало своей и которая искала опоры у тогдашней Европы. Эта земля называлась Господин Великий Новгород. Богатый торговый город с собственным судом, собственными договорами и привычкой самому решать, кого звать своим князем, повернулся в сторону Литвы — и был за это сначала ограничен в правах, потом разбит, потом разобран до основания: без веча, без посадника, без колокола, а вскоре и без тех семей, на которых держался его порядок. Ещё через девяносто лет город, уже покорённый, был наказан снова — на этот раз не за то, что он сделал, а за то, чем он когда-то был.

Безусловно, исторический контекст совершенно разный и он как будто бы несравним. И всё же есть сильное подозрение, что на совершенно разном историческом материале проявляются общие принципы, заставляющие людей страдать и терять свои жизни. И они начинаются с общих вопросов, которые задают себе политики, князья, бояре, президенты и губернаторы тогда и теперь.

Обязано ли растущее государство воевать со своей окраиной, чтобы состояться и выжить. Если война с окраиной — закон природы, снимается ли с людей ответственность за неё. Что вообще значит эта ответственность?

Эта книга не плач по утраченной вольности и не гимн собиранию земель. Она устроена скучнее: факт раньше вывода; каждый вывод опирается на установленную последовательность событий; страх государства перед изменой нигде не принимается за доказательство измены но и не оценивается как абсолютно иррациональный. В ней нет прямых параллелей с сегодняшним днём — не только из-за возможных проблем с цензурой, но и потому, что подготовленная параллель лишает читателя возможности подумать самому, подменяя процесс личного размышления условной радостью или горечью узнавания.

Это не подробная летопись всех отношений Москвы и Новгорода. Каждая глава отвечает на отдельный вопрос. Сначала речь пойдёт о том, как были устроены оба порядка управления большой землёй. Затем — как обычные дела управления превращались в борьбу за право принимать последнее решение. Последние главы рассказывают, что произошло после победы и как поражение Новгорода превратилось в законченный исторический образ с недоговорками.

Глава 1. Не только колокол

В январе 1478 года Новгород признал власть Ивана III. Из города увезли вечевой колокол. Знак был понятен всем: больше не город решает, с кем ему жить и кому подчиняться.

Но колокол сняли за один день, а наутро у победителя осталась земля, тянувшаяся от Балтики до Студёного моря, — и на этой земле каждый двор помнил, чей он. Кому теперь дальняя волость везёт хлеб? Кто рассудит её с соседями? Колокол замолчал — земля продолжала спрашивать. И отвечать ей приходилось каждый день.

У личной власти есть телесный предел. Пока правитель может утром выйти из своего города, дойти до края владения и к ночи вернуться, он ещё видит своё хозяйство сам. Для пешего мира мера выходит наглядная: примерно половина дневного пути, вёрст двадцать пять — тридцать. За этой чертой правитель перестаёт видеть — и начинает верить чужим словам.

Вот здесь и начинается государство. Не с короны и не с войска — с той минуты, когда власть впервые вынуждена принять решение о том, чего сама не видела. Всё остальное — грамоты, печати, суды, писцы, доносы, ревизии — надстройка над этой первичной слепотой.

Дорога, конечно, бывала разной: по реке или зимнику человек уходил дальше, чем пешком по осенней грязи. Но никакая дорога не делала Новгородскую землю обозримой из города. До далёкой волости не доносился вечевой колокол. Между городом и ею неизбежно вставал кто-то третий — человек с грамотой. Этим Москва и Новгород не различались: оба правили землями, жителей которых не собрать на одной площади, оба зависели от людей, действовавших вдали. Различалось другое — как эти далёкие люди были привязаны к центру и за кем оставалось последнее распоряжение.

В июне 1482 года Иван III выдал грамоту, в которой эта привязь видна, как под увеличительным стеклом. Он пожаловал Мите Степанову сыну Нарбекову волостку Мушино в Бежецкой пятине. Прежде Мушино принадлежало Богдану Есипову — новгородскому землевладельцу, арестованному после великокняжеского суда 1475–1476 годов. Волостка переходила к новому держателю «с доходом денежным и с хлебным по старине» — со всем тем, что она привыкла давать прежнему хозяину.

Вчитаемся в слова «по старине». Новый порядок не строил хозяйство Мушина заново — он взял его как есть: те же сборы, те же обязанности, тот же хлеб. Земля осталась на месте, люди продолжали пахать и платить. Поменялось одно: чья бумага делает хозяина хозяином. Разрыв прошёл не между старой жизнью и новой — он прошёл внутри неё, тихо, по линии печати. Мы ищем перемену там, где меняется видимое: стены, войска, границы на карте. А настоящая перемена случается там, где меняется невидимое: кто удостоверяет. Тело Новгородской земли осталось прежним до последней межи. Сменился ответ на вопрос, чьё слово делает право правом. Одна такая грамота — ещё не власть. Власть начинается там, где такую замену можно повторять: волость за волостью, спор за спором, год за годом. А для начала грамоту нужно было хотя бы довести до Мушина.

Грамоту Нарбекову написали в Москве. Но Мушино стояло в Бежецкой пятине, и бумаге предстояло сначала доехать — в чьей-то сумке, через переправы и постоялые дворы. Потом кто-то должен был прочесть её вслух людям, не умевшим читать, и убедить их, что печать на бумаге сильнее прежнего хозяина. Если бы не убедил — бумага осталась бы бумагой.

В городе всё держалось на знакомстве: судью знали в лицо, с соседом спорили через улицу. Чем дальше от площади, тем меньше значило знакомство — и тем больше значил посредник.

Новгородские решения касались мест, откуда никто не приходил на вече. Туда решение везли люди города: читали, собирали, приводили к порядку. За их спиной стояла сила — но

чаще их слушались просто потому, что привыкли считать городской приказ законным. Привычка держит дальнюю землю крепче гарнизона.

У великого князя было то же затруднение, только больше размером. Он не мог сам осмотреть каждую волость — от его имени действовали другие. И нужен был способ отличать: вот это велел государь, а вот это его человек придумал от себя. Чем шире становились владения, тем дороже стоило это различие.

Посредник знал то, чего далёкому правителю не узнать никогда: что спорное поле в прошлом году мерили при свидетелях — и кто из этих свидетелей чей кум. Таким знанием он был незаменим. Тем же знанием он был опасен: свою выгоду он мог подать как волю государя, утаить часть дохода, объявить, что приказ не про него. Для этого ему не нужно было быть бесчестным человеком — достаточно было стоять там, где он стоял.

Никакой центр — даже самый умный и добросовестный — не может знать хозяйство целиком, и вовсе не потому, что чиновники ленивы. Важнейшее знание вообще не бывает записано. Оно существует как знание частных обстоятельств места и времени: что этот склад полупуст, что у того человека беда с лошастью, что переправу в этом году размыло. Такое знание рассыпано по головам, живёт неделю и умирает вместе с обстоятельствами; собрать его в одном уме нельзя в принципе. Любая власть, управляющая большой землёй, зависит от сведений, которых у неё нет и не может быть.

Власть посредника — это овеществлённая слепота его начальника. Она равна ровно тому, чего центр не видит. Значит, посредник — не изъян, который однажды устраняет честные люди. Он есть следствие размера. Пока земля больше дневного пути, кто-то будет стоять между решением и делом — и распоряжаться разницей.

Так у власти появились два вида знания, вечно проверяющих друг друга. Человек на месте видел межу — но мог и соврать про неё. Далёкий суд держал грамоту с печатью — но никогда не видел поля. Всё решалось тем, кому верят, когда эти два знания расходятся. И у каждого орудия этой власти было по два лезвия. Запись о земле защищала владельца перед судьёй, который в глаза не видел его поля, — и она же показывала новому правителю, что можно отнять. Суд гасил распрю соседей — и он же позволял далёкому центру отменить местное решение. Одни и те же вещи оберегали человека от одного произвола и открывали дорогу другому.

Сама нужда в посредниках не предписывала, каким быть государству. Новгород ответил на неё так: несколько властей, каждая из которых может придержать другую. Москва отвечала иначе: одна восходящая цепь, по которой любой спор поднимается к великому князю. Задача у обоих была одна. Разными были ответы на вопрос, у кого спрашивают согласия и кто отдаёт приказ.

В Новгороде ни одно большое решение не принадлежало кому-то одному. Прежде чем стать делом города, оно должно было пройти через несколько рук — и каждая рука держала своё и могла не разжаться. В этом сила такого порядка. В этом же вся его цена.

Сила: город не доставался одному правителю, а дальние земли держались через живые местные связи. Цена обнаруживалась в час, когда решать нужно было быстро — про союзника, про войско, про то, кто заплатит за войну. Тут выяснялось, что боярский род, купец и владычный двор по-разному видят, откуда идёт беда и за чей счёт от неё отбиваться. Москва тоже не была машиной, исполняющей приказ с одного нажатия, — она зависела от своих бояр и своих договорённостей. Но великий князь тянул цепь подчинения в одну прямую: земля даётся за службу, спор восходит к его суду, войско собирается по его слову. Политика была в обоих городах. Различалось, сколько самостоятельных участников стояло между вопросом и ответом — и где спор кончался.

У всякого способа решать сообща есть две цены, и они тянут в разные стороны. Первая — цена для тех, кого решение задело, а согласия не спросили: чем меньше людей нужно, чтобы

решить, тем чаще сильный решает за всех. Вторая — цена самого согласования: чем больше участников должны сказать «да», тем дольше торг и тем чаще решение не принимается вовсе. Снять обе разом нельзя. Устройство власти — всегда выбор, какую из двух цен платить.

Есть, впрочем, довод в пользу многих голов — и он объясняет разом и силу Новгорода, и его слабость. Возьмите суд из многих судей, где каждый решает верно чаще, чем выпадает орёл на монете. Тогда большинство ошибается реже одного человека, и чем больше судей, тем надёжнее приговор. Это не уступка равенству, а способ повысить точность: ошибки одних гасятся правотой других.

Но всё держится на одном условии, и оно жёсткое: голоса должны быть независимыми. Каждый должен судить сам. Стоит судьям начать смотреть на самого влиятельного и повторять за ним — и всё преимущество испаряется: сто человек, копирующих одного, дают точность одного, а не ста. Хуже: они дают его точность с уверенностью ста. У новгородского порядка был настоящий шанс решать лучше единоличного князя — ровно в той мере, в какой посадник, владыка, купеческие старосты и концы судили самостоятельно, каждый из своего знания. И этот шанс исчезал в той мере, в какой боярский род приводил на площадь своих должников и зависимых людей. Не потому, что люди глупы. Потому, что зависимый человек не является отдельным голосом — он является эхом. Множественность власти в Новгороде была не «демократией» и не «олигархией»: она была величиной переменной, и мерилась она тем, сколько на площади было настоящих независимых суждений, а сколько — приведённых.

К этому добавляется вторая беда, уже не арифметическая, а человеческая. Никто из нас не выбирает наилучшее: на это нет ни времени, ни памяти, ни счёта. Мы перебираем варианты, пока не наткнёмся на приемлемый, и на нём останавливаемся. Чем меньше времени, тем ниже планка приемлемого. Совет, у которого есть месяц, ищет лучшее решение. Совет, у которого есть час, ищет любое, с которым все согласны. Это разные советы, хотя сидят в них те же люди. И за каждым «нет» в Новгороде стоял не каприз, а участок ответственности. Владычный двор отвечал за церковных людей и земли, концы — за своих людей в ополчении, купцы — за пути, по которым ходил их товар. Быстро согласиться значило быстро подписать чужие расходы и чужие смерти. Возражение могло прятать шкурный интерес, а могло защищать город от непродуманного шага — снаружи эти два «нет» неразличимы. В этом и заключена вся тяжесть: система, устроенная ради проверки, не имеет способа проверить сами возражения.

У многорукого порядка было ещё одно свойство. Чем больше рук может остановить решение, тем труднее одной из них переписать весь порядок под себя. В мирные годы это щит: им держались старые грамоты, суды и владения. В войну тот же щит вязал городу руки: резкий поворот — союзник, деньги, командование, потери — упирался в каждое из тех прав, которые в мирное время город берёт как зеницу ока. А расстояние делало согласие ещё дороже. Посадник, владыка и купеческие старосты могли сойтись в городе за день — но дальняя волость сидела в их разговоре молча, через посредника. Приказу проще: он не спрашивает адресата и потому легко растягивается на любое расстояние. Сама по себе величина земли не выбирала победителя между этими двумя порядками.

Выбирать пришлось войне.

Летом 1471 года новгородское и московское войска сошлись на берегу Шелони. Новгород вывел большое ополчение — горожан, взявших оружие, но не привычных к нему. Войско состояло из отдельных стягов: владычный, кончанские — каждый конец города со своим. Едино начальника над ними, по существу, не было. Городское устройство вышло на поле боя в том же виде, в каком заседало дома. И повело себя так же. Владычный полк — люди архиепископа — отказался ударить по войску великого князя: объявили, что посланы только против псковичей. Летописец добавляет о городе: «земстии люди того не хотяху» — горожане этой войны не хотели. Здесь нет трусов и храбрецов. Есть войско, внутри которого каждая часть

сохранила собственную обязанность и собственную границу дозволенного — до самой сечи. Навстречу ему пришло войско меньше числом, но служилое и под одной рукой.

Бой безжалостен к устройству, которое совещается. Воину мало решимости — ему нужно вовремя получить приказ и твёрдо знать, что соседний стяг пойдёт вместе с ним. Всякий новый спор о том, кто первым понесёт риск, задерживает всех. Проверка, которая в мирной тяжбе окупалась справедливостью, здесь не успевала окупиться ничем: на площади время было условием разговора, на поле боя оно этот разговор закрыло.

Республики, знавшие за собой эту слабость, строили для войны обходной механизм. Рим на срок смертельной опасности вручал всю власть диктатору — назначенному на короткий срок и обязанному её вернуть. Венеция сжимала срочные решения до узких советов, оставляя широкие собрания мирным делам.

Бывают положения, когда закон должен на время замолчать, иначе погибнет само государство, ради которого он писан. С этим соглашались даже те, для кого свобода народа была выше всего, — и тут же оговаривали главное: срок должен быть коротким, а власть обязана вернуться, иначе спасение станет захватом. Позже ту же мысль вывернут наизнанку и скажут холоднее: суверен — тот, кто решает об исключении. Не тот, кто правит по правилам, а тот, кто вправе объявить, что правила сейчас не действуют. С этой стороны видно, чем платят за переключатель: рука, которой доверили выключить порядок на время, всегда может забыть его включить. У Новгорода этой опасной руки не было вовсе. Город воевал так же, как судился, — согласованием. И согласование не успело за приказом. Симметрия горькая: Новгород погиб оттого, что не имел механизма временно стать Москвой. Москва впоследствии заплатит за то, что не имела механизма перестать быть собой. Скорость атаки — узкая мерка: она не измеряет ни справедливости суда, ни крепости старых прав, ни умения заставить сильных договариваться. Всё это у Новгорода осталось при нём и на берегу Шелони. Просто в тот день ничего из этого не понадобилось.

После поражения спор о судьбе города не утих. Он стал злее.

Годом раньше, в 1470-м, в Новгород приехал Михаил Олелькович — православный князь из литовской правящей династии. Пробыл он недолго, прочного союза с Казимиром IV не вышло. Но само его появление перечертило все расчёты.

Одни в Новгороде видели в литовском князе опору, с которой можно сохранить свой суд и своё право выбирать союзы. Москва видела в нём же начало худшего: богатейшая земля с северными путями уходит в поле соперника. Один и тот же приезд читался двумя несовместимыми способами — притом что ни союза, ни перехода ещё не было. Было только движение, которое каждый достроил до конца по собственному страху.

Ловушка, в которую тут попадают обе стороны, устроена не глупо, а закономерно. Свои поступки человек объясняет обстоятельствами: я поступил так, потому что был вынужден, потому что боялся, потому что не было выбора. Чужие поступки он объясняет свойствами того, кто их совершил: он поступил так, потому что он такой. Новгородская верхушка знала о себе, что ищет страховку от нападения, — обстоятельство. Москва видела действие и приписывала ему природу: город изменчив, ненадёжен, тянется к чужому. Каждая сторона имела полный доступ к собственным мотивам и никакого — к чужим. В таком воздухе спор быстро меняет язык. Вместо «какого князя позвать?» начинают звучать другие слова: «верность», «латинство», «измена». Эти слова умеют выражать подлинный страх. Но они же делают работу, ради которой их и произносят: превращают предмет спора из поступка в природу. С поступком можно разбираться — доказывать, опровергать, торговаться об условиях. С природой разбираться нельзя. Ей можно только не доверять. Назвать соседа изменником — значит закрыть будущее обсуждение прежде, чем оно началось.

К лету 1471 года московский двор уже говорил о литовском повороте именно так: измена государю и угроза православию. В одну формулу легли совсем разные вещи — спор о договор-

ных правах города, страх перед войском Казимира, церковное подчинение, долг перед наследственным государем. После Шелони Коростынский мир затянул узел: суд великого князя стал весомее, внешняя воля города — уже.

В 1477 году то же движение дошло до конца — из-за одного слова. Новгородских послов в Москве слышали назвавшими Ивана «господарем», и Москва прочла это как присягу. Город возразил: такого смысла не было. Но возражение уже читалось как отказ от принесённого подданства. Вопрос «какого князя звать и на каких условиях» умер; остался вопрос, вправе ли город вообще ставить условия государю.

В январе 1478 года колокол увезли: последнее слово перешло к Москве. Но что оно весило без всего остального? Посмотрите, какой путь должна пройти одна-единственная грамота — хоть та же грамота Нарбекову, — чтобы стать властью. Сначала кто-то должен знать, что волостка Мушино вообще существует и что с неё собирают, — это записи. Потом кто-то должен привезти бумагу и объявить её на месте — это люди центра. Если прежний хозяин заспорит, спор должен где-то кончиться — это суд. Служба нового держателя должна чем-то кормиться — это доход. Решение должно исполниться, а не остаться словами — это принуждение. А если заспорят сами власти, кто-то должен сказать последнее слово. Выпадет любое звено — и грамота останется бумагой, которую вежливо выслушали.

Каждое звено этой цепи о двух концах: суд защищал от произвола местного сильного — и утверждал решение, принятое за сотни вёрст от жалобщика; земельная запись хранила право — и облегчала конфискацию. Поход дал Москве победу над городом. Землёй, которой можно управлять, Новгород делала не победа — а эта цепь, звено за звеном, год за годом: суды, сборы, назначения, исполненные распоряжения. Колокол увезли за день. Цепь собирали десятилетиями.

Глава 2. Два порядка власти

В 1421 году в Новгороде заболел немецкий священник. Купцы немецкого двора хотели отправить его домой — и пошли просить разрешения у тысяцкого. Тысяцкий не разрешил. Корабль есть, спутники готовы, человек болен — а уехать нельзя, потому что городская должность сказала «нет». Даже отъезд больного был в этом городе не частным делом, а вопросом власти.

Слово «тысяцкий» звучит сегодня как из былины. Когда-то так звали начальника городского ополчения — «тысячи». К XV веку войско осталось при должности, но должность давно переросла войско: тысяцкий сидел в торговом суде, разбирал ссоры с иностранными купцами, держал порядок вокруг торгового двора. А в опасный час всё тот же человек вёл вооружённых горожан в поход. Суд и меч ещё не разъехались по разным ведомствам — они жили в одних и тех же руках. Это меняет сам смысл суда. За судьёй не стояло отдельного учреждения с собственной полицией. Решение входило в живую сеть: община могла выставить свидетелей, привести упрямую сторону, взыскать платёж, а если надо — собрать отряд. Суд не был силой, но и не существовал без неё.

Другой сохранившийся спор начался с куска дерева. У ворот Готского двора, где жили приезжие немцы, кто-то стесал мостовую плаху — примерно на ширину ладони. Ладонь дерева — а поднялись посадник и тысяцкий, и посадник обязался доложить о деле Новгороду и владыке. Потому что спор шёл не о плахе: по этой линии проходила граница между правом немецкой общины, правом её соседа и правом города решать, где чьё.

А вот голос с другого конца той же системы. Берестяная грамота конца XIV века, номер 474, сохранила жалобу почти безымянного человека: «У моей семьи нива пережата через межи. Детки мои избиты, жена моя избита. Бога ради, господин, защити, я тебе челом бью». Начало письма утрачено вместе с именем адресата; чем кончилось дело — неизвестно. Известно другое: кто-то прошёл плугом за признанную границу, и человек искал того, кто может это остановить.

Береста сохраняет не теорию права — движение руки. Найти писало, выцарапать несколько слов, передать, надеяться. Такие письма не хранили: прочитанный лист рвали и бросали, он уходил в мокрую новгородскую землю — и через пять веков возвращал голос человека, которого ни одна летопись не заметила. Ещё одна грамота, начала XIV века, показывает процедуру в разрезе. Некий Филипец был вызван на суд — и не явился; тогда послали «грамоту бессудную». О чём была тяжба, мы не знаем. Но последовательность дела: вызов, обязанность явиться, следствие неявки. «Бессудная» не значит, что дело сочли пустым, — почти наоборот: раз одна сторона не пришла, решение могло состояться без неё, без состязания и разбора. Проиграть можно было, не сказав ни слова, — просто не ответив на вызов. Суд начинался задолго до приговора: с признанного способа заставить людей прийти.

Такой город не представишь одной площадью с колоколом. Человек встречался здесь с властью во многих местах — на торгу, у посадника, у тысяцкого, на владычном дворе, на княжеском суде, а в редкий общегородской час — на вече. Места эти не были равны и не давали равных шансов боярину и зависимому крестьянину. Но власть была разделена, и первый вопрос любого спора звучал не по-нашему. Не «какой закон нарушен?» — а «чей это суд?». Больной священник, стёсанная плаха и пережатая межа вели к разным дверям одного и того же порядка.

Всякая власть стоит перед задачей, которую нельзя решить одной силой: заставить людей исполнять решения добровольно. Силы всегда меньше, чем случаев, где она нужна; государство, которому приходится принуждать каждого, разоряется на страже. А подчиняются люди не столько из страха наказания, сколько по тому, как с ними обошлись. Дали ли мне сказать?

Слушал ли меня судья? Одинаково ли он обошёлся со мной и с моим противником? Объяснили ли, почему решено так? Проигравший дело по процедуре, которую он признал честной, подчиняется охотнее, чем выигравший по процедуре, показавшейся ему произволом. Справедливость переживается прежде как порядок обращения — и только потом как содержание приговора.

Новгородские двери производили не только решения — они производили согласие. Человек шёл к тысяцкому, к посаднику, к владыке и знал заранее, кто позовёт стороны и чья печать закроет спор. Право живёт не в грамоте, а в привычке ожидания. И потому у всякого правового порядка есть уязвимость, о которой редко думают: чтобы его разрушить, необязательно отменять законы. Достаточно несколько раз подряд обмануть ожидание — и дальше каждое решение придётся проводить силой. Так складываются две разные привычки справедливости. В городе с несколькими судами естественна мысль: сильный не должен решать чужое дело один — рядом обязан стоять посадник, у церковного суда своя область, у торгового своя. Там, где управитель назначен государем, столь же естественна другая: местный судья не может быть последним словом, ведь над ним должен стоять отвечающий за всю землю. Обе привычки несут и ценность, и опасность. «Старина» защищала признанные права города — и заодно власть нескольких богатых семей. «Общий порядок» кончал тяжбы, которые некому было кончить, — и тем же языком оправдывал отъём земли. Красивый принцип сам по себе ничего не решает; решает то, кому он открывает дверь и кто платит за его работу.

Всё это не делает Новгород безупречной республикой. Посадник, владыка и купцы не были одной командой: они защищали разное и умели быть жестокими к тем, кто ниже. Но им приходилось строить процедуры — иначе большой город с торговлей, землями и внешними связями рассыпался бы на частные вражды. И потому вечевого колокол — лишь самый громкий из образов новгородской власти. Тише, но вернее о ней говорят купцы в передней тысяцкого, ладонь стёсанного дерева, крик о пережатой меже на бересте и вызов, на который Филипец не пришёл.

На княжеском суде эта система встречалась с человеком, которого сама же приглашала — для войны и суда.

Посадник — от слова «посадить»: когда-то князь сажал такого человека править от своего имени. Республиканский Новгород перевернул смысл: посадника выбирал и признавал сам город, обычно из влиятельной боярской среды. Он председательствовал в суде, вёл переговоры, следил за исполнением решений, представлял Новгород перед князем. Назвать его мэром было бы удобно и неверно: у посадника не было профессиональной администрации, его должность жила внутри борьбы родов, концов и церковной власти, а посадников в XV веке было уже несколько — нынешние и бывшие вместе заседали в госпode. Присутствие посадника в суде означало не лишнего судью. Оно означало, что в деле участвует город.

Князь тоже не был украшением. Он приходил с дружиной, командовал войной, судил. Но его власть была договорной: князя приглашали, с ним торговались, его лишали поддержки и удаляли. Важные дела он решал вместе с посадником — и эта совместность отвечала на вопрос, от которого зависело всё: может ли внешний военный правитель один судить новгородца, или город должен присутствовать в суде своим человеком?

Свой первый ответ город дал в 1136 году — поступком. Новгород восстал против князя Всеволода Мстиславича. Его не убили и не выдали врагам: князя с семьёй посадили под стражу на владычном дворе, и вооружённые люди стерегли его день и ночь. Летопись сохранила обвинения — как пункты иска: не бережёт смердов; собирался уйти княжить в другое место; первым побежал с поля боя. Ответа Всеволода летопись не сохранила. Через два месяца его отпустили — и позвали другого. Город судил князя как человека, не справившегося со службой, наказал отставкой — и сохранил саму должность. Человек оказался сменяем. Место осталось.

Через сто лет Новгород рассорился со славнейшим из своих князей. Александр Ярославич только что разбил шведов на Неве — и после ссоры с горожанами покинул город: победа не отменяла условий. Когда Орден взял Копорье и Псков и война подошла к стенам, новгородцы пошли просить его назад — и получили, снова на службу. Город мог быть неблагодарным и близоруким. Но победитель не становился владельцем города: его можно было отпустить — и вернуть, когда понадобится его сила. При этом князь не был наёмником на одну войну. Его наместник постоянно жил на Городище, княжеские люди участвовали в суде, дружина давала городу воинов, для которых война была ремеслом, а княжеское имя открывало двери в переговорах с другими землями. Город покупал не только мечи — он покупал место внутри княжеского мира Руси.

Но костяком новгородского войска дружина не была никогда. Основой оставалось ополчение: городская «тысяча» под тысяцким, отряды пригородов и волостей, вооружённые люди бояр и владыки. Профессиональные воины в городе были — они служили князю, владыке, боярам, сидели гарнизонами в крепостях. Постоянными были люди. Непостоянным было их соединение: содержание, положение и приказ каждый получал из своего места.

Такой порядок не удержишь одной памятью — после каждого приглашения встаёт вопрос, что именно князь обещал городу. Поэтому отношения легли на бумагу. Старейшие сохранившиеся договорные грамоты Новгорода с князьями — dokonчания 1260-х годов с Ярославом Ярославичем, братом Александра Невского. Одна начинается словами, которые сегодня читаются почти невероятно: «На сем ти, княже, целовати крест к всему Новугороду». Крест целует князь городу — не город князю. Дальше — условия, подробные, как в хозяйственном найме: держать Новгород по старине; волости поручать мужам новгородским, а не своим; без посадника суда не кончать, волостей не раздавать, грамот не давать; сёл не приобретать — ни князю, ни его боярам. Город не отнимал у князя силу: дружина, суд, командование остались при нём. Город отнимал у силы способность укорениться. Купишь сёла — станешь местным землевладельцем; раздашь волости своим — обзаведёшься людьми, обязанными тебе; закончишь суд один — соединишь в одной руке обвинение, приговор и исполнение. Каждый запрет рубил не саму власть, а тот побег, которым власть вырастает в почву.

Но здесь новгородцы упёрлись в трудность, которую не обойти никакой бумагой. Договоры без меча — всего лишь слова, и защитить сами себя они не могут. Обещание держится, пока есть кто-то, способный взыскать за его нарушение. Между двумя сторонами, над которыми нет третьей силы, договор существует ровно до того дня, когда сильнейшей стороне станет выгодно его нарушить. Новгородская грамота — попытка обойти эту трудность без меча. Город связывал князя не силой, а положением: крестное целование при вступлении в должность, публичность условий, память о прежних dokonчаниях, готовность указать путь тому, кто нарушит. И это работало десятилетиями — потому что князю было что терять: доброе имя в княжеском мире, доход, возможность быть позванным снова. Условия держались не оружием, а тем, что нарушителю дороже обходилось нарушение. Такой договор надёжен ровно до появления партнёра, которому уже не нужно, чтобы его звали. Иван III в этих отношениях не нуждался. Ему не требовалось приглашение — он предъявлял наследственное право.

Была у осторожности города и военная цена. Постоянная сила должна чем-то кормиться; если не деньгами, то землёй. Но земельное пожалование тянет за собой учёт, суд и право заменить держателя — целую машину, которой распоряжается тот, кто жалует. Новгородская грамота закрывала князю именно этот путь. А построить такую же машину от имени самого города? Возможно — но тут же вставали вопросы, на которые многорукий порядок не имел готового ответа. Кто распоряжается доходом единого войска — посадник, владыка, вече? Кто назначает постоянного командующего, если должности заняты соперничающими семьями? Городу пришлось бы создать новый постоянный центр силы — и город понимал, чем это пахнет: вооружённой властью, которую уже не удалишь вместе с неудачным князем. Столетиями

старая смесь — дружина, ополчение, боярские слуги, гарнизоны — защищала владения и ходила в дальние походы. Опасность её перестраивать выглядела больше опасности её сохранить.

Бумага же переживала людей. Менялись князья, умирали посадники — а следующему правителю предъявляли уже известные условия. Это не отменяло насилия. Но спор никогда не начинался с пустого места — город указывал на обещание, данное прежде должности.

В Москве власть стояла на другом основании. Московский князь не получал город по договору с жителями — он наследовал его. В духовной грамоте Ивана Калиты города и волости идут между сыновьями одним спокойным перечнем, рядом с сёлами и золотыми поясами. Можайск и Коломна — статьи наследства. Жители в этом документе не сторона: у них не спрашивают.

Постоянной армии у московского князя XV века тоже ещё не было — его конные служилые люди жили по своим владениям и собирались по приказу. Но у него было то, чего не могло быть у приглашённого князя: командующий, верховный судья и раздатчик земли не менялся по воле городского сообщества. Постоянным было не стояние воина в строю — постоянным было направление его обязанности: к одному государю.

Разницу видно уже в грамматике документов. Новгородская грамота обращается к князю и перечисляет его ограничения. Духовная грамота обращается к наследникам и перечисляет их владения. В первой город участвует в создании власти. Во второй власть над городом просто следует за землёй. Отсюда и разная цена смены правителя. Новгород снимал князя, не ломая порядка, — князь был должностью внутри порядка. В Москве спор о наследстве был спором о самом порядке и решался усобицей родни. Не потому, что одни люди свободолюбивы, а другие покорны. Просто в одном документе город говорит князю: поклянись и соблюдай. В другом князь говорит сыновьям: вот что я вам передаю.

Совместный суд держал эту границу в повседневности, договор — в политике. А рядом работали другие суды, каждый со своей областью, — и через них город пытался сводить решения, не отдавая никому последнего слова.

Торговля не была в Новгороде приложением к политике — она была его кровью. Через Волхов шли меха и воск на запад, соль и сукно на восток; от доверия приезжих купцов зависели доходы семей, церкви и самого города. Поэтому ссора о товаре или долге легко перерастала частное дело: сегодня спорят купец с лоцманом — завтра говорят Новгород и иностранная торговая община. В этот мир вёл суд тысяцкого. В источниках он разбирает дела новгородцев с иностранцами, ссоры лоцманов, оскорбления чести, вопрос, может ли иностранец уехать, — тот самый больной священник. Не единственный судья торговли: в тяжёлом деле рядом вставали посадник, владыка, люди торгового двора. Но именно через тысяцкого торговый спор входил в городскую власть.

Вторая дверь — владыка. Архиепископ был не только духовным наставником: его дом владел землями и людьми, у него был собственный суд, его печать заверяла сделки, его слово весило в переговорах. Когда спор о плахе дошёл до владыки, это не было добавкой ради благословения — это была одна из настоящих властей города.

Третья дверь — княжеский суд, четвёртая — посадник. Но назвать их четырьмя отделениями одного учреждения нельзя: это были самостоятельные источники власти, каждый со своими людьми и своей силой. У князя — вооружённый двор. У владыки — слуги и собственный отряд. У тысяцкого — ополчение военного времени. У посадника — должность плюс род, сторонники, зависимые люди. Единого исполнительного аппарата не существовало: каждое решение проводила сила того центра, который его вынес.

У такого устройства есть имя: полицентрический порядок. Решения принимаются несколькими центрами, каждый со своей областью и долей самостоятельности; центры перекрываются, спорят, отчасти дублируют друг друга — и вместе управляют лучше, чем можно

ожидать от подобного беспорядка. Так веками жили общины, которым приходилось сообщать держать общее — рыбные угодья, воду, лес: рядом с рынком и государством это третий работающий способ, а вовсе не всегда переходная ступень к «нормальной» вертикали.

Почему такой порядок вообще держится? Потому что каждый центр знает то, чего не знают другие, и вынужден считаться с их согласием. И почему он ломается? Потому что у него нет собственного способа быстро закончить спор между центрами — и тем более нет способа выдержать давление извне, когда снаружи стоит порядок с одним ответом.

Четыре двери Новгорода делали пересекающуюся работу — разбирали споры, — но были устроены совершенно по-разному: выборная городская должность; торговая; церковная корпорация с землёй и печатью; приглашённая военная сила по договору. Их нельзя было сломать одним ударом: то, что подчиняло род, не действовало на владычный дом; то, чем давили на купцов, не работало против князя. При этом никакой мудрец их не проектировал — они выросли. В позднейших конституциях разделение властей было замыслом: ветви нарочно устроены так, чтобы честолюбие сдерживало честолюбие. В Новгороде ничего подобного не задумывали. Центры сдерживали друг друга не по конституции, а потому что каждый держался за своё. Это разница между лесом и садом: и то и другое живо, но лес никто не сажал — и никто не отвечает за то, что в нём растёт. Поэтому спор о подсудности был спором совсем не отвлечённым: чьи люди вручат вызов, возьмут пошлину, удержат имущество, заставят сильного ответить. Грамота сама по себе никого не принуждала. Чтобы решение прошло путь от бумаги к действию, властям приходилось признавать друг друга — или воевать друг с другом.

Над всем этим стояло вече — но не как ежедневный суд. Оно собиралось, когда вопрос становился делом города: война, договор с князем, столкновение больших групп. Между повседневным спором и вечем сидела господа — круг посадников, тысяцких и владыки, где решения готовились прежде, чем выйти к городу.

Несколько дверей давали человеку выбор — и выбор этот был оружием. Купец опирался на обычай своего двора и требовал защиты городской должности. Монастырь нёс грамоту владыке. Сторона, не верившая княжескому человеку, требовала посадника. Один центр удерживал другой от единоличного решения. Служил такой выбор, впрочем, не слабому: богатый род знал ходы, имел людей для переговоров и мог тянуть тяжбу годами; сами суды боролись за дела, как за добычу. Спор о праве легко превращался в спор о том, кто вообще вправе произвести решение.

Новгород здесь не был чудом: в средневековых городах Европы так же накладывались друг на друга обычаи общин, церковные правила, княжеские повеления и купеческие договоры, и люди так же шли туда, где им светил лучший шанс. И так же, как везде, множественность оставалась порядком лишь при одном условии: пока власти признавали области друг друга и умели передавать дело дальше. Совместный суд князя и посадника, доклад города владыке — это работало как цепочка признанных шагов. Но убери признание — и четыре двери вели бы не к проверке решения, а к четырём несовместимым ответам. Одна плаха подняла несколько властей. Посадник не мог решить её частным приказом — и в этом неудобстве был весь смысл: медленно, зато никто один.

Множественность власти была для Новгорода не недоработкой, а страховкой. Посадник знал городские семьи, тысяцкий — торг, владыка — церковные земли, князь приносил силу и связи. Никто не знал всего. Решение шло медленно — зато частный интерес одного человека было трудно выдать за волю города. Но несколько властей — ещё не система. Раздробленность отличается от порядка не числом учреждений, а другим: признают ли они общие правила, обмениваются ли сведениями, умеют ли передать дело и есть ли точка, где столкновение полномочий обязательно кончается. Новгородские документы показывают оба состояния. Совместный суд князя и посадника, путь спора о плахе от тысяцкого к городу и владыке — это система. Столкновение боярских групп в час, когда нужно немедленно решать о войне, — это

уже цепь взаимных «нет» без общей точки. К тому же каждый видел в одном деле своё. Для немецкого двора плаха была границей владения и надёжностью знакомых правил. Для города — ещё и отношениями с торговой общиной. Для владыки — решением, которое должно быть признано за пределами одного двора. Несколько взглядов замечали то, чего не увидит один судья, — но требовали пути, по которому эти взгляды сойдутся в один исполнимый ответ.

Отсюда настоящий вес слова «старина». Это не любовь к прошлому. Это значит: правило известно, ожидания сложились, люди знают, к кому идти. Сломать старину — значит порвать сеть предсказуемости, в которой люди умели защищаться. Правда, та же старина хранила преимущество семей, лучше всех знавших её ходы.

Внешняя угроза делала эту двойственность опасной. Когда посадник, боярский род и владычный двор тянут в разные стороны, городу не отличить разумную осторожность от задержки ради чужой выгоды. И тогда человек, обещающий единый ответ, выглядит не захватчиком — избавителем от спора, которому не видно конца.

У обоих устройств своя цена ошибки, и она распределяется по-разному. Там, где решают несколько, ошибка одного гасится о несогласие соседа — но и верное решение вязнет в том же несогласии. Там, где решает один, верное решение проходит мгновенно — и ошибка проходит так же мгновенно и становится общей. Это не спор о том, кто умнее. Это выбор, какого рода бедствие ты предпочитаешь: медленное или всеобщее.

Москва смотрела на всё это со своей колокольни, и со своей колокольни была права. Если из далёкой волости нужно собрать людей на оборону, получить налог, разнять два сильных рода — князю нужны человек, отвечающий за территорию, сведения о доходах и окончательный ответ в понятный срок. Отсюда три московские фигуры: наместник, писец, суд великого князя. Наместник делал государя видимым на месте. Писец переводил разнородную землю на один язык: деревня, двор, доход, обязанность. Суд открывал обиде путь наверх, мимо местной силы. Чужие друг другу волости становились сопоставимыми для человека, который ни одной из них не видел.

Преобразование живой земли в нечто, читаемое издалека, и есть наведение разборчивости. Чтобы управлять на расстоянии, власть вынуждена сначала упростить: ввести общие меры, единые названия, сопоставимые единицы, постоянные имена и границы. Без этого нельзя ни обложить налогом, ни призвать на службу, ни рассудить спор, которого не видел. В упрощении есть настоящая польза — записанный сбор трудно тихо увеличить, записанная повинность видна рядом с соседской. И есть неустранимая цена: всё, что не помещается в графу, для власти перестаёт существовать. Устные обещания, давние примирения, обычай делить покос через год, право вдовы на часть двора — в книгу не попадает ничего из этого. А потом по книге принимаются решения. Так что сама запись никого не подчиняла. Нужна была власть, способная кончить спор о владении и довести решение до дальней деревни. Единый взгляд становился силой только вместе с правом распоряжаться увиденным.

Итак, два способа собирать знание о земле. Новгородский — через пересечение заинтересованных людей, каждый из которых приносит сведения и защищает своё. Московский — через единый вид и восходящую цепь. Первый рисковал застрять между неполными взглядами. Второй — принять собственное описание за саму землю. Это различие резче всего проступало там, где запись сходилась с доходом и войском.

Земля в XV веке давала не только хлеб. С ней приходили право собирать платежи, судить зависимых людей, держать вооружённых слуг, весить в политике. Поэтому спор «чья земля» всегда был и спором «кто сможет требовать службу».

Два слова размечали это поле. Вотчина — наследственное владение рода. Поместье — земля, данная за службу, средство эту службу нести. Противопоставлять их как вечную собственность и подачку, которую чиновник завтра отнимет, неверно: вотчинник тоже служил государю, а ранние поместья сидели в семьях, пока семьи служили. Для растущей Москвы

решающим было другое: пожалование позволяло всё ту же стягивать доход землевладельца с его обязанностью перед государем.

Для деревни это различие являлось не из учебника. Менялся человек, чьи люди приезжают за хлебом, чьи слуги требуют повинность, чей суд разбирает спор. Одно и то же поле жило в двух измерениях: для семьи — место труда, памяти и старых обещаний; в государственной записи — источник известного дохода, а через доход — содержание воина. Оба измерения были настоящими. Но второе позволяло переставить держателя, не меняя строки о том, что земля должна дать.

Слово «постоянный» тут надо понимать точно. Постоянной армии в казармах Москва в конце XV века не имела: служилый человек жил в своём хозяйстве, сам кормил коня и по приказу являлся на сбор. Постоянным было направление обязанности — служить одному государю и явиться, когда потребует. У Новгорода тоже были профессионалы и гарнизоны — но они сидели внутри разных хозяйств и разных верностей: княжьи, владычные, боярские. Собрать их в одно войско каждый раз было политическим решением. А слить навсегда — значило создать общий фонд содержания, учёт обязанных, проверку явки, право кончать спор приказом. То есть тронуть распределение земли между родами, монастырями и владычным домом — само основание городского веса. Военная реформа была бы реформой власти. Город на неё не пошёл.

После присоединения эта связь стала повседневностью. Старых владельцев сводили с земли, землю описывали и раздавали новым держателям — часто с сохранением сборов «по старине». Деревня стояла где стояла, жители пахали те же поля. Менялись право на доход, суд и обязанность владельца.

Завоевание и войско нельзя разносить по разным историям. Конфискованные новгородские земли — боярские, владычные, монастырские — стали фондом, на котором Иван III сажал служилых людей из других областей. Более собранная конница помогла подчинить Новгород; подчинённая земля позволила умножить людей, чей доход был привязан к службе. К Шелони московская служба уже превосходила новгородскую организацию единством — но поместная система ещё не была готовой машиной: она росла на новгородском материале и созрела лишь в следующем веке. Москва победила не потому, что имела совершенное учреждение. Победа дала ей возможность его достроить. За этим хозяйственным различием стоит различие в самом взгляде на человека — спор, который переживёт и Новгород, и Москву.

Новгородский порядок был выстроен вокруг личного интереса: несколько дверей в суд, грамоты у разных владельцев, сила старины — всё, чтобы вовлечённый мог отстоять своё. Даже должность продолжала человека: посадник приходил из рода, и его вес был весом рода. Сильные этим злоупотребляли, слабые проигрывали чаще, чем рассказывает легенда о вольном городе. Но сама процедура исходила из того, что перед ней — сторона, которую надо выслушать или преодолеть.

Московский порядок всё заметнее отделял человека от его функции. Государству, собиравшему огромную землю, служилый был важен тем, сколько людей выставит и какой приказ исполнит. Поместье обеспечивало функцию; писец записывал двор и повинность так, чтобы их можно было сравнить с соседскими.

Это отделение — не русское изобретение и не порча. У власти вообще есть два способа связать с собой служащего. В одном он связан с правителем лично: он его человек, кормится от его милости, служит ему, а не должности. В другом должность отделена от лица: у неё есть очерченный круг дел, письменная процедура, жалованье, и служит человек не государю, а порядку, в котором государь тоже занимает своё место. Именно второе делает власть предсказуемой: закон один для всех ровно постольку, поскольку чиновник исполняет должность, а не желание начальника.

Москва двигалась в сторону функции — писец, разряд, оклад, смотр, — но личного основания не покидала: земля была наследством государева рода, служба шла лично государю, милость и опала оставались его личным делом. Служилый человек становился функцией по отношению к соседу — и оставался чьим-то человеком по отношению к верху.

Мы привыкли жалеть «винтик» — и почти никогда не смотрим на другую сторону. Вполне развитая бюрократия есть власть Никого: решения принимаются, судьбы ломаются, а виновного нет — каждый лишь исполнял своё. Такую власть труднее всего призвать к ответу, потому что не с кем спорить и некого просить. Московский порядок этого предела не достиг — и не смог бы: у него на вершине стоял человек, для которого не существовало ни оклада, ни круга дел, ни процедуры. Он делал функциями всех — кроме одного.

Порядок, где все — функции, а один — лицо, опасен для обеих сторон. Для подданного, потому что его функцию можно вычислить, заменить и списать. Но и для того единственного, кто наверху: у него нет способа передать себя по правилу, его нельзя сменить, не сломав порядка, и всякая его смерть — не смена должности, а поломка. Новгород умел менять князя, не ломая города. Москва не умела менять государя, не ломая себя.

Впрочем, до чистых функций она и не дошла — и это видно уже в её лучшие годы. Личность и род прорвались в сердцевину самой службы: воеводы спорили о «местах», о том, кому по чести предков невместно стоять ниже кого, и спорили даже в походах; назначенный мог отказаться от унижительного для рода места. Московский воевода был функцией в войске — и одновременно представителем семьи, требующей признания чести. Переход от человека-стороны к человеку-функции был направлением, а не достигнутым состоянием.

Через восемьдесят лет после падения Новгорода видно, как эта машина работала с живым человеком. Служилый человек Михалец Резанов вернулся со службы под Казанью — а поместья у него не было, и доли в отцовской земле не было. Он бил челом просто: обязанность служить есть, а кормиться, чтобы явиться с конём и оружием, не с чего. В январе 1556 года дьяк велел новгородским чиновникам проверить его слова и, если подтвердятся, выделить землю — до следующего военного смотра; отцовское поместье отдать двум братьям, уже вступавшим в службу. В одном коротком деле сошлось всё: человек, семья, участок, далёкий чиновник и назначенный смотр. Государству не нужна была отвлечённая верность Михальца. Ему нужно было, чтобы функция была исправна, — и оно чинило её земельное обеспечение, как чинят колесо.

В том же 1556 году Уложение о службе довело расчёт до арифметики: со ста четвертей доброй земли — один человек на коне и в полном доспехе, в дальний поход — о двух конях. Между Шелонью и этой нормой — восемьдесят пять лет. За них государство научилось зараннее вычислять, сколько войны должна дать земля. Война и была весами, на которых различие взвешивалось. Служилых собирали по спискам и проверяли на смотрах; владение обеспечивало обязанность. Порядок интересов собирал войско договорённостями — и участники не оставляли свои права у городских ворот: на Шелони владычный полк не ударил по войску великого князя, потому что пришёл со своей отдельной обязанностью. Война не проверяла, какой порядок нравственнее. Она проверяла одно: превратилось ли согласие в обязанность, которую можно потребовать к часу.

Так что граница между порядками проходила не между живыми людьми и винтиками. Она проходила через вопрос, с чего начинается решение. Новгородская процедура начинала со сторон, которые надо согласовать, — и рисковала не кончить спор. Московская служба начинала с обязанности, которую надо исполнить, — и рисковала разучиться спрашивать согласия у человека, чья жизнь вошла в расчёт.

Слово «Новгород» легко заслоняет людей, терявших и получавших землю. Вернём двоих.

Марфа Борецкая принадлежала к одному из влиятельнейших боярских кругов города. Поздняя литература сделала из неё одинокую «Марфу-посадницу», героиню сопротивления,

— образ, удобный для памятника и вредный для понимания: за ним не видно ни городских сторонников Москвы, ни грызни боярских групп, ни людей, которым были чужды обе партии. Достоверное скромнее и страшнее: после сдачи города Марфу арестовали и увезли, имущество забрали. Вместе с владелицей исчезла целая сеть — родня, зависимые люди, должности, обязательства, — всё, что придавало её слову вес. Конфискуют не только добро. Конфискуют место в мире, из которого человек действовал.

Второго человека мы уже знаем — Митя Нарбеков, получивший в 1482 году волостку Мушино после осуждённого Богдана Есипова. Марфы в этой грамоте нет: это отдельная смена держателя, а не сцена передачи борецкого добра, — и додумывать связь мы не вправе. Но пара сложилась и так. Один документ показывает, что теряет старая городская верхушка. Другой — из кого победитель строит новый порядок: Нарбекову волостка дана с доходом «по старине», только право на неё исходит теперь от государя, и держится оно службой.

Точной военной нормы для держателя в этой ранней грамоте ещё нет — машина только собиралась. И заменяемой деталью человек не стал: исследования писцовых книг показывают, что многие поместья десятилетиями сидели в семьях первых держателей — пока семья служила. Новый порядок не уничтожал семью. Он менял условие её устойчивости: право стояло уже не на памяти рода, а на признанной государем службе.

А на землях старых и новых владельцев жили те, кого не спрашивал никто: крестьяне, дворовые, проезжие купцы. При каждой смене держателя им заново приходилось выяснять, кому отдавать хлеб, чьи люди придут за повинностью и какое из старых обещаний ещё чего-то стоит. Для них передел был не спором о формах владения — он был повседневной тревогой.

Угрожали два порядка друг другу не тем, что один был государством, а другой нет: суды, налоги и принуждение были у обоих. Для Москвы Новгород был опасен тем, что последний ответ на важный вопрос мог прозвучать не от великого князя: город сам решал, кого впустить, с кем договориться, чей суд признать. И военная тревога Москвы была не о том, что у Новгорода нет вооружённых людей, — они были: ополчение, гарнизоны, боярские и владычные отряды, дружина. Тревожило другое: эти силы не были постоянно направлены к одному командованию.

Это дилемма безопасности, и она объясняет историю лучше любых обвинений. Суть её проста и безвыходна: меры, которыми одна сторона защищается, снаружи неотличимы от приготовлений к нападению. Крепость, союз, запас оружия одинаково выглядят и как щит, и как меч. Поэтому сосед, увидев их, укрепляется в ответ — и его ответное укрепление первая сторона видит уже как подтверждение своих худших опасений. Обе могут быть совершенно искренни. Обе движутся к войне, которой ни одна не хотела.

Психологическая половина этой ловушки ещё неприятнее. О собственных намерениях мы знаем изнутри — и знаем, что они оборонительные. О чужих намерениях мы судим по видимым возможностям, потому что больше судить не по чему. Из этого вырастает устойчивая асимметрия: свою осторожность мы объясняем страхом, чужую — злым умыслом. Новгород знал о себе, что ищет страховку. Москва видела возможность и достраивала до умысла. Никакая доброта участников этой асимметрии не отменяет.

Свойство, делавшее Новгород живучим изнутри, было тем же самым свойством, которое делало его подозрительным снаружи. Разные двери, разные силы, невозможность одним ударом подчинить всё — это одновременно и защита города от собственных сильных, и невозможность для соседа знать наверняка, с кем он имеет дело. Устойчивость к захвату и ненадёжность союзника — не два разных качества. Это одно качество, увиденное с двух сторон.

Тревога Москвы не была выдумкой — новгородские связи действительно весили на северо-западе. Но между возможностью, намерением и совершённым действием лежит расстояние, и именно его труднее всего удержать в конфликте. Опасность может быть реальной — и всё же не отвечать на вопрос, что человек или город сделал.

Новгород же видел в московском «последнем слове» не сильную защиту, а вполне представимые последствия — по уже сделанному: наместник судит в городе, писец описывает землю, победитель решает, кому достанутся вотчины. Ограничение союзов, расширение княжеского суда и разговоры о верности сходились для него в один вопрос: будет ли город сам определять условия своей связи с князем.

Дальше события шли ступенями, и каждую мы уже видели: Яжелбицы 1456 года сузили внешнюю волю города и расширили княжеский суд; Шелонь 1471-го затащила зависимость; 1478-й уничтожил учреждения, способные на собственное решение; 1480-е перенесли перемену из договоров в повседневность — в землю и службу. Сталкивались не только учреждения — сталкивались два воспитанных представления о разумной власти. Новгородская старина учила: князь входит в город через договор и совместный суд. Московское наследование учило: за большую землю отвечает один, и последнее решение должно быть у него. Право стороны выглядело из Москвы отказом от общей обязанности. Наведение порядка выглядело из Новгорода уничтожением самой процедуры, которая делала приказ законным.

В 1421 году немецкие купцы шли к тысяцкому спрашивать, можно ли больному священнику уехать, — и признавали тем самым его власть. В 1482 году право Нарбекова на Мушино исходило из грамоты великого князя. Между этими двумя документами сменилось не имя должностного лица. Первый показывает город, в котором человек ищет признанную дверь. Второй — землю, для которой дверь назначает победитель. Оружие сделало один из порядков обязательным. Всё остальное — как он вошёл в суд, землю, службу и обычный день — решали уже не пушки, а грамоты.

Глава 3. Книга

В писцовой книге Шелонской пятины конца XV века есть строка о дворе в Миненом конце, у церкви святого Мины: «Машка, вдова Кондратова, да Ивашко, да их суседи Федко да Якуш, да Власко, да Васко - позема 10 денег».

Переведём. Писец видит один двор — не обязательно отдельный дом, а хозяйственную единицу. К ней он приписывает Машку, вдову Кондрата, Ивашку и ещё пятерых «суседей» — слово это не говорит ни о родстве, ни об устройстве жилья: просто круг людей, отнесённых к одному двору. И «позем» — плату за пользование землёй. Десять денег.

Сколько Машке лет? Давно ли умер Кондрат? Она хозяйка двора или приживалка у родни? Кто из семерых собирал эти десять денег и как делили? Книге всё это не нужно. Она сохранила ровно то, что требовалось для учёта, — и ни словом больше.

Но и одна строка говорит о многом. Несколько человек, живущих рядом, стали частью книги: место, перечень, платёж. Человек в Москве мог никогда не видеть Минена конца и не слышать Машкиного голоса — но по книге он знал, что с этого двора должен прийти доход. Так выглядит одна из самых тихих перемен в истории государства: не взятие города, не бой на реке — рука писца, переводящая землю и людей в строки и суммы.

Запись не обязательно лжива и не обязательно жестока. Она может осадить сборщика: записанная сумма — это сумма, сверх которой нельзя требовать. Она может выручить в споре: судья получает опору, не зависящую от памяти самого сильного. Но та же запись открывает победителю дорогу — передать землю другому, взыскать то, чего прежде не платили. После 1478 года именно это станет главным способом превратить военную победу Москвы в устойчивую власть.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.